

У НАС В ГОСТЯХ  
ПИСАТЕЛИ БЕЛАРУСИ

Алесь  
Бадак



## ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Учитель не может мечтать об идеальном ученике, потому что идеальный ученик всегда лучше учителя, из-за чего тот в глубине души ощущает свое несовершенство. Точно так же как хирург не может мечтать об идеальном больном, поскольку идеальный больной – это, как известно, тот, кто болен неизлечимо, а какой хирург готов признать свою профессиональную беспомощность?

Впрочем, на свете хватает профессий, представители которых могут мечтать об идеальном потребителе их таланта.

Я помню повара из ашгабадского «Grand Turkmen Hotel», где мне, участнику международной книжной ярмарки, довелось жить целую неделю. Мне очень понравился вечерний плов, и я сказал повару, назвавшемуся Атамурадом, что хотел бы, чтобы этот вкус узнала и моя жена, поэтому не скажет ли он мне рецепт его приготовления.

Но Атамурад помотал головой:

– Это агурджалинский аш. Чтобы овладеть всеми секретами его приготовления, надо быть туркменом не ближе чем в пятом колене. А чтобы ощутить его настоящий вкус, надо родиться и вырасти там, где Сумбара впадает в Атрек.

– Почему именно там? – спросил я.

– Потому что оттуда мне привозят шафран и ажгон, которые добавляются в агурджалинский аш. Потому что там пасутся бараны, мясо которых идет на агурджалинский аш. Потому что я родился там. Каждый раз, когда готовлю агурджалинский аш, я с нежностью и любовью вспоминаю свои родные места, и эти любовь и нежность придают блюду особенный привкус, который ощутит только тот, кто, как и я, родился и вырос там, где Сумбара впадает в Атрек.

Атамурад мечтал об идеальном посетителе ресторана «Grand Turkmen Hotel», который мог бы ощутить в его блюдах привкус любви и нежности, а я мечтаю о своем идеальном читателе.

Написав несколько страниц будущей книги, я люблю выйти из квартиры и в городских парках и скверах, на улицах и проспектах, в магазинах и кофейнях, в автобусах и метро наблюдать за людьми, пытаюсь по лицам узнать того, для кого, в первую очередь, эта книга пишется. Того, кто безошибочно может определить, над какими страницами я мучился больше всего, а в каких местах делал паузы во время работы, чтобы прогуляться по городу.



Идеальный читатель признает только оригинал, а не перевод, что значительно сужает пространство моих поисков, а значит, увеличивает шансы найти его. С другой стороны, это пространство сегодня уже слишком мало, чтобы в нем обязательно мог появиться идеальный читатель, и с каждым годом оно сужается все больше.

Да, я пишу на языке, на котором поэзию и прозу читают не слишком много людей.

Я знаю, что сказал бы на это Атамурад: «Чем чаще видишь людей с хот-догом в руках, тем более вкусный аш мне хочется приготовить».

Я спросил Атамурада, когда однажды мы сидели с ним на лавочке возле памятника поэту Караджаоглану, думает ли он о том, что у него в действительности не так-то много шансов встретить в ресторане того, кто родился и вырос там, где Сумбара впадает в Атрек, поскольку подавляющее большинство постояльцев «Grand Turkmen Hotel» – приезжие из других стран. На что Атамурад ответил:

– У того, кто ждет, четыре пары глаз, и он одновременно смотрит в четыре стороны света. У того, кто перестает ждать, нет ни одной пары. Я редко разговариваю с посетителями ресторана, поэтому не могу наверняка знать, был ли среди них тот, кто родился и вырос в долине Атрека. Возможно, он был вчера, но был слишком голоден и в дурном настроении. Голодные, как и те, что садятся обедать без настроения, не могут почувствовать настоящий вкус еды. А может, он сидит в ресторане сейчас или придет завтра. Поэтому каждый раз я готовлю аш для прошлого, для будущего и для сегодняшнего дня. Ожидание помогает держать себя в форме. Я боюсь потерять свою работу не из-за того, что больше ничего не умею, а потому, что тогда перестану ждать.

Атамурад помолчал, будто бы до мельчайших подробностей восстанавливая в памяти один из эпизодов своей жизни, а после вспомнил, как познакомился с выдающимся, по словам рассказчика, белорусским пианистом Валентином, который так и не дождался своей славы на большой сцене. В Ашгабад он приехал вместе с братом Андреем, который тут служил офицером перед самым развалом Советского Союза и у которого тут осталась дочь Марина – она вышла замуж за туркмена. Квартиры Атамурада и Марины разделяла одна стена, пропускавшая звуки так, как листва деревьев пропускает солнечные лучи. Благодаря этому уроки игры на пианино, которые по выходным давала ее дочке семидесятилетняя Вазига (о ней говорили, что она положит в пустой кошелек копейку, а достанет из него рубль), давались его сыну даром.

Сам Атамурад хоть и любил музыку настолько, что не пропускал ни одной премьеры в оперном театре, нотной грамоты чурался, поскольку считал, что у человека может быть только одно призвание. Это та работа, о которой думаешь все время, даже во сне, и как нельзя в одном казане одновременно готовить бштыкму и аш, так нельзя одновременно думать о разной работе.

Однажды вечером Атамурад услышал, как за стеной кто-то начал играть на пианино. Это была не соседская дочка и не семидесятилетняя Вазига: играли не просто профессионально, а виртуозно. Причем звучал фортепианный концерт Равеля для левой руки. Последнее обстоятельство особенно заинтриговало Атамурада, поскольку тому, у кого две руки и десять пальцев, играть музыку, написанную для одной руки – такая же дурная примета, как здоровому на обе ноги ходить на костылях.

Атамурад подхватился со стула – и через минуту уже стоял перед Валентином. Когда они познакомились, Атамурад, не отрываясь, смотрел ему в глаза, но рукопожатие выдало, что у Валентина на правой руке не хватает безымянного пальца.

Как человек, у которого есть настоящее призвание, о котором он думает даже тогда, когда говорит совсем о другом, Валентин во всем слышал музыку и на все смотрел глазами музыканта. В последний день перед возвращением в Минск он испек большой бисквитный торт и попросил Марину позвать на прощальный ужин Атамурада. Торт имел вид размещенных по спирали клавиш пианино – 52 клавиши были белого и 36 – красного цвета. Над последней – «до» пятой октавы – возвышался шоколадный скрипичный ключ. Валентин сказал, что каждая из клавиш имеет свой вкус, как каждая клавиша в действительности – свой звук. Чтобы почувствовать настоящий вкус торта, нужно ложечкой зачерпывать от них в той последовательности, в какой нажимаются клавиши при исполнении определенной мелодии одной рукой. Разные мелодии придавали тарту свою вкусовую особенность.

Когда Валентин рассказал это присутствующим, за столом повисло молчание. Мало того, что никто, кроме Валентина и Мариной дочери, не знал нотной грамоты, каждый из присутствующих не мог отважиться первым ложечкой взять общий торт.

И тут из-за стола подхватила Марина. Она полоснула по беззвучным клавишам ножом.

Атамурад увидел, как вздрогнула правая рука Валентина.

– А я предлагаю... – звонко сказала Марина и смолкла, не закончив фразы: ее дочка подхватила из-за стола и бросилась к дверям.

– Что такое? – крикнула ей вдогонку Марина. – Дядя Валентин пошутил! Какие ноты, какая мелодия?!

Я спросил у Атамурада, знает ли он, где теперь Валентин и чем занимается.

– К сожалению, я не уверен, что он живет счастливо, чтобы спрашивать о нем у Марины, – сказал Атамурад. – Люди сами рассказывают про свою родню, когда у тех все хорошо, и стараются обойти эту тему, когда все плохо. Валентин называл себя музыкантом, у которого прошлого больше, чем настоящего, поэтому я не знаю, где и кем он теперь работает, но если у меня спросить, кто такой Валентин из Беларуси, я, не раздумывая, отвечу: в первую очередь – выдающийся пианист, а все остальное не имеет большого значения.

Я посмотрел на руки Атамурада, напоминавшие руки двадцатилетнего юноши.

– Может, он стал хорошим поваром?

– В его торте слишком много музыки, – с улыбкой помотал головой Атамурад.

– А это то же самое, как если в агурджалинский аш добавить слишком много перца.

Подавляющее большинство писателей мечтает о своем массовом читателе, и только немногие грезят о читателе идеальном, прекрасно понимая, что идеальных (это значит, талантливых) не намного больше, чем талантливых писателей. К сожалению, слишком часто отыскать одного человека труднее, чем найти тысячи людей. Был ли такой читатель у Купалы – тот, кто, прочитав в 1925 году его строки:

Мне бацькаўшчынай цэлы свет,  
Ад родных ніў я адварнуўся...  
Адно... не збыў яшчэ ўсіх бед,  
Мне сняцца сны аб Беларусі,

предчувствовал (как и сам автор, когда писал их), что поэт ждет ранняя смерть?

Идеальное чтение напоминает настоящую любовь: при нем взгляд бегаёт по словам, будто по телу, и прежде, чем проникнуть вглубь текста, чтобы получить от этого наивысшее наслаждение, он получает наслаждение от созерцания того, как построены фразы и поделен текст на абзацы.

Из этого нетрудно догадаться, что идеальное чтение, как и любовь, может явиться не сразу, не с первого знакомства с текстом, а идеальный читатель со временем может остыть к своему любимому автору и увлечься другим.

Наконец, что тоже очень важно, чтобы иметь своего идеального читателя, необязательно быть гениальным писателем, потому что приверженность к творчеству конкретного автора порой бывает столь же необъяснима и непредсказуема, как и любовь. Правда, надо признать, что многие, когда берут в руки новую книгу, сначала обращают внимание на яркую обложку, а не на имя автора, которое скоро забудут, поскольку чтение для них – возможность избавиться от лишних минут, как от мелких купюр, что отягощают кошелек и из-за чего они покупают совсем не нужные вещи. Так какой-нибудь юнец с несдержанной плотью в первую очередь обращает внимание на девичьи формы, а имя девушки, нужной ему на одну ночь, может забыть очень скоро.

Часто, гуляя по городу, я перебираю в памяти слова, будто гальку для мозаики: я подбираю их друг к другу и складываю в фразы, чтобы после вложить их в уста своих героев. Бывает, слов аж в избытке; бывает, наоборот, их не хватает; но и в первом, и во втором случае далеко не каждый раз удается составить фразы, которые после не рассыпались бы на отдельные слова – так, как это всегда бывает с банальными фразами.

Однажды, через три года после поездки в Ашгабад, во время таких прогулок я почувствовал, что во мне звучат не слова, а музыка, и фразы для моих героев превращаются в ноты. Я вспомнил мелодию: это был концерт ре-мажор Раделя для левой руки, написанный им за несколько лет до того, как он перестал узнавать собственную музыку. У меня есть запись этого концерта в исполнении Пауля Витгенштейна и Королевского оркестра Концертгебау, но в этом случае звучал один рояль. И я догадался, что это играл Валентин, которого я никогда не видел.

Только теперь я понял, что последние три года не просто не забывал о Валентине, но подсознательно хотел встретиться с ним. Почему же только теперь я осознал это? Наверное, потому, что все годы после поездки в Ашгабад я думал так, как думал Атамурад: убивая в человеке мечту, невозможно не попасть в сердце. И тогда можно догадаться, чего боялся Валентин.

В истории музыки широко известно имя австрийского пианиста Пауля Витгенштейна. Завистники говорили, его пальцы заряжены такой энергетикой, что во время игры на фортепиано они не касаются клавиш, и в этом секрет его виртуозной игры, но тут не обошлось без помощи дьявола. В качестве аргумента они приводили тот факт, что после того, как Витгенштейн на Первой мировой войне потерял

руку, одной левой он играл лучше, чем до того обеими, а левая рука, как известно, считается нечистой, и то, что делается ей, делается с помощью дьявола.

Витгенштейн, несомненно, был лучшим из всех известных в истории одноруких пианистов, но не первым, поскольку первым был венгерский граф Геца Зичи, который в 1863 году подростком потерял на охоте правую руку, но оттого не потерял желаний стать известным пианистом, почти пять лет брал уроки у Ференца Листа и после выступал с ним на пару, переложив листовский «Ракоци-марш» для исполнения в три руки. Главное, чего добивался Лист от своего ученика, – нужно слушать не рояль, а собственную душу, ибо не рояль должен рождать звуки, а душа пианиста. И правда, как свидетельствовали современники Листа, когда на сцене стояли только два рояля, за которыми были он и Зичи, казалось, что играет целый оркестр.

Однако Зичи не умел того, что умел Витгенштейн, и это не позволило венгру стать лучшим одноруким пианистом мира. Когда он начинал играть, зрители всегда поражались тому, как виртуозно он играет одной рукой. Когда начинал играть Витгенштейн, зрители превращались в слушателей и забывали, что у него только одна рука.

Возможно, однажды думал я, гуляя по городу и неосознанно бросая взгляд сначала на руки прохожих, а потом на их лица, Валентин знал обо всем этом и боялся, что в наш прагматичный и циничный век разговоры о его покалеченной руке всегда будут идти впереди разговоров о его игре, а сочувствие к нему всегда будет находиться впереди восхищения.

Впрочем, а почему бы за эти годы, которые в нашей жизни многое изменили, он не мог заняться бизнесом? Да и мало ли кем он мог стать сегодня в мире, где больше всего ценится умение зарабатывать деньги, а значит, вероятность встретиться с ним у меня такая же, как вероятность того, что воробей, который сейчас сидит на городском фонаре, на лету поймает клювом дождевую каплю. Это может случиться через мгновение, а может не случиться никогда.

А вообще, думал я дальше, переступив порог своей квартиры и раскрывая зонт, чтобы быстрее высох, – а вообще, какое мне дело до какого-то Валентина, которого я никогда не видел, никогда не слышал, как он играет, и кто знает, понравилась ли бы мне его игра, как, впрочем, и он сам.

Я подошел к книжному шкафу и поглядел на поставленные в ряд четыре книги Милорада Павича. Некогда мне восхищенно рассказала о нем знакомая журналистка, которая в правительственной газете ведет колонку мини-обзоров новых книг и, надо сказать, делает свое дело виртуозно, хоть это не обязывает меня соглашаться с теми оценками, которые она дает очередной новинке. Поэтому, услышав из ее уст хвалебные слова в адрес Павича, я не бросился тут же в ближайший книжный магазин, а только многозначительно улыбнулся. Разумеется, это имя я слышал и до нее, знал, что Павич в новейшей литературе считается одним из главных мифотворцев и что он придумал в ней новое направление: нелинейную прозу. Но к разным постмодернистским штучкам я отношусь настороженно и слишком хорошо знаю силу рекламы, поэтому, многозначительно улыбнувшись, я предложил своей знакомой:

– Повтори какую-нибудь фразу, придуманную им.

Она прикрыла глаза, будто не хотела, чтобы эту фразу я прочитал в них прежде, чем она ее произнесет, и через несколько секунд сказала:

– «Время, как мяту, можно посеять, и оно прорастет».

В тот же день я купил четыре книги Павича, не раскрывая, поставил их в ряд в книжный шкаф и пробормотал самому себе: «Время, как мяту, можно посеять, и оно прорастет». Для чтения хорошей книги нужно подбирать соответствующий момент, созвучный твоему состоянию души, и я понял, что этот момент для меня еще не пришел. Тем не менее, в компаниях знакомых литераторов я начал уверенно говорить: «Павич, несомненно, один из самых ярких прозаиков двадцать первого столетия», и вспоминал его фразу, которую некогда услышал из уст обозревательницы правительственной газеты. Эта фраза часто оживала в моей памяти, и каждый раз она мне казалась не такой, как раньше, поэтому каждый раз с нее можно было начинать новый сюжет. Я подумал, что постепенно становлюсь идеальным читателем Милорада Павича, при том, что пока не прочитал ни единой его книги. Я все отказывал себе в этом удовольствии, чтобы как следует изголодаться по нему, пока однажды не понял, что уже боюсь братья за него, поскольку боюсь в нем разочароваться, потому что тот Павич, который сложился в моем представлении, в действительности может оказаться совершенно иным, не моим, пускай себе и трижды талантливым.

Не так ли я боялся разочароваться и в Валентине?

Однажды после душевной июльской ночи, когда кажется, что подушка может обжечь щеку, меня разбудил мобильник.

– Привет! Можешь говорить?

Говорить? Казалось, я лишь минуту назад наконец заснул, поэтому то, что мне хочется сейчас сказать, тому, кто ждет от меня ответа, лучше не знать. Но говорить, тем более женщине, в большинстве случаев нужно то, что она хочет услышать от тебя.

– Ты на работе?

Какого дьявола мне делать на работе в первый день своего отпуска?!

– Ой, прости! Я хочу сегодня пригласить тебя на обеденный прямой эфир.

Ясно. На прямой радиоэфир договариваются загодя, хотя бы за несколько дней. Значит, кто-то пообещал, но не смог. Я сам 14 лет работал на радио, знаю, что чувствует автор программы в таких случаях, поэтому сразу прикидываю, во сколько мне надо выехать из дому. Часа за полтора – чтобы не опоздать. Однако в действительности выхожу за два, на станции «Площадь Якуба Коласа» поднимаюсь из метро, чтобы пройти пешком по проспекту Независимости до Дома радио. Мне надо настроиться на радиобеседу.

Я иду по проспекту против теплого потока солнечных лучей. Я бросаю взгляд на незнакомых мне людей, на минуту задерживаю их в памяти и представляю своими слушателями. Я думаю, что им сказать.

Много лет тому назад, когда я учился на филфаке БГУ, мой друг и однокурсник Мирослав советовал мне, как сдавать экзамены по литературе: если тебе выпал несчастливый билет, старайся переключиться на то, что хорошо знаешь, и втянуть преподавателя в диалог.

На экзамене по классической русской литературе мне попался Достоевский. Не сказать, чтобы я плохо знал его творчество, однако же это был любимый писатель моего экзаменатора. А в отношении к своим любимым часто проявляют ревность, которая, в этом случае, могла повлиять на мою оценку, поскольку ревнивцам угождать очень трудно. Поэтому я не стал рисковать и сначала выразил восхищение



романами Федора Михайловича, при этом подчеркнув, что наше отношение к нему – вопрос прежде всего духовного, а не эстетического характера. А вообще, продолжал я, когда решил, что самое время начать отдаляться от Достоевского, наибольшее обогащение от чтения литературных произведений мы получаем не посредством знаний, а посредством веры. Духовное начало в художественном слове – самое мощное, поэтому оно наполняет нас прежде всего верой, а не знаниями. А вера, в отличие от науки, того же литературоведения, сближает разных по своему масштабу величины, показывая их отличия в той плоскости, в которой наука показать не в состоянии. Поэтому, с точки зрения духовного восприятия, мы можем сказать, показывая разницу между ними: Пушкин – для всех, а Лермонтов – для каждого.

После этих слов преподаватель, который все время, пока я говорил, смотрел в мой билет, будто сверял то, что я рассказываю, с тем, что там написано, резко понял голову, наши взгляды встретились, и за несколько мгновений до того, как он сказал, что ставит мне «отлично», это решение я прочитал в его глазах.

Позже я не раз пользовался советом своего друга Мирослава в самых разных ситуациях, как, например, в нынешней: я не знаю, о чем меня будут спрашивать радиослушатели, но я уверен, что обязательно расскажу им историю про Валентина.

Я поднимаюсь на второй этаж Дома радио за 40 минут до начала эфира. На сердце легко, словно вместо него воздушный шарик. Я знаю, почему: есть шанс, что на эту передачу отзовется кто-то, кто знает Валентина. А может (хотя вряд ли, конечно), он сам.

Я останавливаюсь возле двери с табличкой «Руководитель литературно-музыкальных проектов Татьяна Якушевич». В ее кабинете с правой стороны у стены стоит пианино «Беларусь»; стоит еще с тех времен, когда мы не знали ни компьютеров, ни интернета, и композиторы приходили на радио не с CD или флешками, а с нотными листами, и, сев за это пианино, показывали музыкальному редактору свои новые песни. Крышка откинута, и мне кажется, что в воздухе еще можно уловить последние звуки мелодии, которую тут недавно играли.

– Скажи, пожалуйста, – спрашиваю я у Татьяны и при этом внимательно гляжу на клавиши пианино, – возможно ли испечь торт в виде клавиш?

Татьяна удивленно и, как мне кажется, настороженно смотрит на меня. Я думаю, она боится, что я недоволен своим вынужденным появлением на радио во время отпуска, поэтому могу нести в эфире всякую чушь, и рассказываю ей про Валентина. Она слушает, но видно, что в то же время думает о чем-то своем. Ее глаза смотрят мимо меня. Мне кажется, она думает, что всю эту историю я выдумал по дороге на радио. Если так, я не буду рассказывать в эфире про Валентина.

Наконец наши взгляды встречаются, и Татьяна говорит:

– Знаешь, Валентин – это мой брат.

Я сидел в небольшой, четыре на шесть, комнате, где в каждой вещи жила музыка. Она не исчезала насовсем, когда смолкал рояль, как не исчезает насовсем ничто и никогда, а переходила в другое состояние, неуловимое для слуха. Присутствие музыки ощущалось скорее физически, стоило дотронуться до стола, до нотных листов на нем. Она не исчезала насовсем, поэтому все более накапливалась тут с годами, и теперь уже любые звуки в комнате казались музыкой.

Я сидел в широком кожаном кресле напротив окна, и лицо Валентина то темнело, когда он поворачивался ко мне, то светлело, когда склонялся над роялем и левой рукой легко, будто глядя, проводил по клавишам. Это был так называемый кабинетный рояль немецкой фирмы August Fürster, славившейся чистотой звука своей продукции. Мне не нужно было рассказывать Валентину всю предысторию нашей встречи. Несколько дней тому назад за меня это сделала Татьяна. Правда, не знаю, насколько ее пересказ соответствовал истине: одни и те же слова, произнесенные разными людьми, порой несут разную информацию.

– Есть люди, перед которыми самоуверенность раскрывает новые высоты, а есть те, кого она заводит в тупик. Мне кажется, я своевременно разглядел этот тупик впереди своей дороги, чтобы еще смочь свернуть на иную, – Валентин кивнул в сторону синтезатора Casio на высоких ножках, стоявшего рядом с роялем. – Я стал аранжировщиком, и на хлеб мне хватает. И дело не в этом, – он приподнял с клавиши и тут же опустил на них правую руку, на что они отозвались жалобным лязгом. – Просто я не выдающийся пианист по своей природе.

– Ты мог бы стать лучшим белорусским пианистом, но стал лучшим аранжировщиком, – Татьяна принесла мне чашечку кофе и поставила на столик из черного стекла, рядом с креслом, а сама снова вышла из комнаты, вероятно, чтобы не мешать нам.

– Атамурад – чудесный слушатель с превосходным прирожденным слухом! Благодаря своей соседке Вазиге он неплохо усвоил теорию музыки и при этом не научился слушать сердцем, а не разумом. Однако он не знал одного секрета моей игры.

Валентин сказал эти слова с улыбкой, будто в шутку, но я был убежден, что сейчас услышу нечто важное для себя.

– Я левша. А левше концерт для левой руки играть значительно проще. Вот и все.

Признание Валентина для меня было полной неожиданностью.

– Скажите, вы слышали о том, что для левшей характерно так называемое одновременно-визуальное мышление, в то время как у правшей преобладает мышление линейно-последовательное? Например, правша берет в руки роман, читает первое предложение, анализирует его, потом читает следующее, анализирует. Предложения, как бусины, по очереди нанизываются на нитку сюжета, и правша, пока не отложит или не закончит чтение, на каждом этапе держит в сознании только ту мизерную частичку романа, на которую направлен его взгляд. Тот, кто делает бусы, увлечен работой, держит взглядом только те бусины, которые в этот момент нанизывает на нитку. Левша одновременно и читает, и анализирует роман. Для него роман – это не бусы, а... ну, скажем, новогодняя елка, которую ему, с подсказок автора, разумеется, нужно украсить предложениями-бусинками. На каждом этапе он видит и оценивает ее всю, его мысли идут не строго следом за развитием действия романа. Они то возвращаются назад, на предыдущие страницы, то пытаются спрогнозировать то, что может происходить в романе дальше. Мне кажется, идеальный читатель обязательно должен быть левшой.

Я сделал короткую паузу, чтобы убедиться, что мои слова у хозяина квартиры не вызывают иронии. Мне хотелось, чтобы Валентин спорил или соглашался со мной, но он молча, с чуть заметной улыбкой смотрел в пол и ритмично кивал головой, будто в такт мелодии, звучавшей в нем.



– Не мне вам рассказывать, что пианист-правша и пианист-левша технически одинаково хорошо справляются с самыми сложными произведениями, например, транскрипциями Листа. При условии, конечно, что они оба одинаково хорошо подготовлены, – на всякий случай уточнил я. – Но во время игры правша своими мыслями только дублирует движения пальцев рук в той последовательности, в какой от них этого требует клавиш. Поэтому он слышит то, что в этот момент выдают клавиши рояля – ни больше и ни меньше. А левша слышит произведение целиком, сразу в трех измерениях – в прошлом, в настоящем и в будущем, и это делает его игру более оригинальной, виртуозной, и каждый раз она в его исполнении звучит по-другому. Что касается вас – тут еще более интересный и редкий случай, который вносит неповторимость в вашу игру, в ваш талант, понимаете? Мы не говорим об оперном певце: у него талантливый голос. Мы говорим: талантливый оперный певец. Потому что талант не в голосе. Талант творца – в его душе, о которой мы за миллионы лет своего существования так ничего и не узнали. Можно только сказать, что она заполняет все наше тело, как кровь заполняет жилы, и остро реагирует на все его проблемы. Поэтому Ван Гог до того, как отрезал себе мочку уха, и Ван Гог после того – в определенном смысле разные художники. Как есть два Бетховена – тот, у которого нормальный слух, и тот, который слух утратил. Причем второй Бетховен создал более знаменитые произведения, чем первый. Как, к слову, и Ван Гог. Но я пришел не ради того, чтобы услышать вашу, не сомневаюсь, замечательную игру. Наверное, правильней сказать: ради того, чтобы перестать слышать ее. С того времени, как мне рассказал о вас Атамурад, она часто звучит в моем представлении: Равель, Брамс, Прокофьев – та, что композиторы писали для левой руки. Причем звучит в самые неподходящие моменты: когда я сажусь за стол и начинаю работать над своей новой книгой. Она стала мешать моим мыслям, и я понял: чтобы музыка перестала звучать, мне нужно познакомиться с вами...

Когда я поднялся с кресла, чтобы попрощаться, было уже поздно.

Не знаю, почему, но в тот момент я был убежден, что наша с Валентином встреча – первая и последняя. А главное, мне почему-то этого хотелось. Он стоял передо мной слегка поникший, но все с той же неизменной, чуть заметной улыбкой на губах, значительно ниже ростом, чем я его представлял, в серых тапочках на босу ногу, а я глядел на его со вчерашнего дня небритое лицо, на котором неровно росла рыжая щетина, и думал о том, что вижу другого Валентина, не того, которого помнил Атамурад. Это был человек, у которого от своего прошлого остались одни зачерствелые крошки, и ему хотелось смахнуть их из памяти, как со стола.

Оставалось последнее, что я хотел узнать от Валентина.

– Скажите, как вам пришла в голову идея испечь торт в виде клавиш рояля? Валентин, казалось, был рад вопросу.

– Это не совсем моя идея. Есть такой известный на весь мир итальянский шеф-повар Антонио Корлуччи. Он издал книгу «Паста и опера», где описал семнадцать рецептов блюд, к ней прилагается диск с семнадцатью знаменитыми итальянскими операми. Корлуччи рекомендует конкретные блюда готовить и есть под конкретную оперу, только тогда они приобретают необычайный вкус.

Татьяна проводила меня до автобусной остановки.

– Ну как? – спросила она.

– Спасибо за знакомство с братом, – сказал я. – Он правда много аранжирует?

– Да. В последнее время ему даже поступают заказы из Москвы.

– О, это большие деньги!

Я слышал, что «для Москвы» стремятся работать многие наши молодые музыканты, однако в тамошнем шоу-бизнесе все куплено и поделено на сферы влияния, поэтому пробиться туда кому-то со стороны почти невозможно.

– Кстати, он аранжировал «Вольную птушку».

Я не слишком люблю современную популярную музыку, однако эта песня не выходила из моей головы всю дорогу после прощания с Татьяной. Дело в том, что песня «Вольная птушка», которая в последние месяцы ежедневно звучит на всех белорусских FM-станциях, была написана на мои слова.

*Перевел с белорусского Андрей Тявловский*

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО СОБЛАЗНЕНИЮ ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН**

**Интервью для первого белорусского эротического журнала,  
который пока не начал выходить**

Это интервью никогда прежде не публиковалось. Оно даже не закончено, и я плохо представляю, что могло быть написано во врезке. Не думаю, что это было бы банальное перечисление основных фактов моей биографии и изданных мною книг: Марина не переносила банальностей.

Возможно, во врезке она написала бы о том, как переступила порог моей квартиры, сквозняк с улицы донес до нее через открытое окно едва уловимый запах сирени, будто я держал в руках невидимый букет.

– Я забыла предупредить, что хочу поговорить с вами о любви. Вы не против?

Однако глаза ее говорили иное: она не предупредила нарочно, для нее важно было начало разговора, чтобы сразу понять, какое интервью может в результате получиться. Для меня это было важно не меньше, и я ответил:

– Точнее, вы, я думаю, хотите поговорить о еще не написанной повести, о которой я имел неосторожность сказать в одной телепередаче.

– Почему неосторожность? Это была хорошая реклама автобиографической, как вы сами признались, повести «Инструкция по соблазнению замужних женщин».

Она протянула ко мне правую руку ладонью вниз, чтобы продемонстрировать обручальное кольцо:

– Я замужем!

– Я больше не практикую.

– Что?..

В конце концов, врезка могла быть о чем угодно, ее могло и вовсе не быть, как могло не быть опубликованным и само интервью, если бы она не выслала мне текст на вычитку. Я публикую его без единой правки, лишь вначале и в конце сделал необходимые пояснения. Публикую потому, что повесть так и не была и, думаю, никогда не будет написана, и это все, что осталось от странной встречи, состоявшейся пять лет назад, когда однажды в жаркий июньский полдень я от-

крыл дверь квартиры и увидел на лестничной площадке красивую молодую женщину, чей облик все не уходит из моей головы.

– Я больше не практикую.

Мне сорок пять, возраст, когда завтрашний обед еще кажется более вкусным, нежели вчерашний, вечерняя женщина красивее утренней, а время от рассвета до полуночи таким долгим, что можно забыть, что говорил на восходе солнца утренней женщине, осторожно слизывая молочный луч луны с плеча вечерней женщины.

Я старый холостяк, хоть это и не стоящая внимания условность, формальность: я никогда не был одиноким в том смысле, который мы обычно вкладываем в это понятие. Одиночество – страдание, если оставляют тебя. Если оставляешь ты – это удовольствие с лимонным привкусом сожаления, которое со временем переходит в покой. Причем, после каждой женщины остается иное одиночество, сотканное из запахов именно ее тела, из ее обид и несбывшихся обещаний, из ее смеха и слез. И едва я успевал насладиться своим очередным одиночеством, как в моей жизни появлялась другая женщина.

Я всегда брал в любви самое лучшее, что в ней есть, не доводя ее до привычки, как пчела стремится собрать побольше нектара с цветов, пока не пришла пора увядания.

– Мне кажется, в этом сравнении вы забыли важную деталь: собирая нектар, пчелы тем самым в результате приносят пользу многим людям, а в вашей ситуации приходится говорить только про вред.

– Вред? Женщины любят во всем обвинять мужчин с той уверенностью, которая лишает смысла любые оправдания. Тем не менее, хочу кое-что уточнить.

Меня не интересуют молоденькие дурочки, которых обмануть так же просто, как на лодке переплыть Минское море. Они легко соглашаются на все, не слишком затрудняя свой мозг вопросом: а что будет дальше, убежденные, что в запасе у них вечность, и что они несут моральную ответственность только перед собой, а с собой, как известно, договориться проще всего.

Не интересуют меня и недавние разведенки, которые каждого нового знакомого рассматривают как потенциального мужа.

В общем, меня не интересуют те, кому от меня – в семейном плане – или не надо ничего, или нужно все.

Поэтому дверь моей спальни открывалась только перед теми, кто замужем. Ну, если вам этого мало: сам я не переступил порог спальни ни одной замужней женщины. Согласитесь, замужняя женщина семь раз подумает, прежде чем изменить. А значит, ее поступок нельзя назвать необдуманным. С другой стороны, она семь раз подумает, прежде чем кардинальным образом изменить свою семейную жизнь, или, проще говоря, развестись, и на седьмой раз ей станет от этих мыслей так страшно, что когда ее случайный роман наконец закончится, она чувствует облегчение.

Ну и главное: я убежден, что ни одна из этих женщин не почувствовала себя обманутой, потому что ни одной из них я не обещал то, чего дать не мог.

– Но в каждой женщине завтрашнего больше, нежели сегодняшнего, и, бросая ее сегодня, вы вмешиваетесь в ее будущее.

– Будущее замужней женщины начинается в ее вчерашнем дне. Преимущественное большинство женщин хоть раз в жизни изменяли своему мужу, а зна-

чит, измена – это то, что заложено в нее природой. И семейная рутина, обиды, конфликты, которые вызывают желание отомстить, – все то, что мы называем причиной измены, на самом деле только повод для нее. Причина в том, что любовь – это не то, что мы имеем, а то, к чему стремимся, поскольку всегда ждем от нее чего-то нового.

Тот, кто впервые увидел, как восходит солнце и заплакал от такой красоты, может стать великим поэтом, но тот, кто каждое утро плачет, с одного и того же места наблюдая восход, может стать сумасшедшим.

«Я однолюбка, никогда не изменю своему мужу и буду любить только его – до самой смерти», – заявила одна из героинь моей повести в начале нашего знакомства. Я спросил ее: «Ты помнишь, как вы познакомились?» «Конечно, – ответила она. – В парке Янки Купалы. Я сидела на скамейке и кормила белочку арахисом. Еще были у меня миндальные орехи, но я где-то вычитала, что для них это отраву». Кстати, вы знаете, что женщины, которые, услышав один вопрос, отвечают сразу на десять, доступнее для соблазнения, нежели те, у которых начало ответа надо искать на губах, а конец – в глазах?

– Вы серьезно?

– Так я узнал, что в день их знакомства было солнечно, и спросил: «А что, если бы шла гроза, и вы с ним остались каждый в своей квартире? В Минске почти два миллиона жителей, ваша встреча – не больше чем случайность. Через неделю, через месяц, через год ты встретила бы в этом же парке, а может, в метро – не важно, другого своего единственного, и обманывала бы себя до поры до времени, что будешь любить только его, таким образом изменяя тому, невстреченному, первому.

Кстати, она уже развелась: сперва видела в муже только то, что хотелось видеть, а потом – то, что видеть не хотела.

– Благодаря интернету весь Минск – это огромная коммунальная квартира, где каждый на виду, что дает нам большие возможности для выбора, а значит, снижается процент случайности. И прежде чем лично познакомиться с человеком, о нем можно многое узнать в социальных сетях.

– Всю переписку в интернете я копирую в файлы, которые хранятся в двух папках, названных «Рабочая» и «Личная». Я очень редко перечитываю файлы из рабочей папки, а всю переписку из личной знаю почти на память. Вы никогда не станете выкладывать в социальные сети свое фото, которое вам не нравится, и никогда не отправите по электронной почте любовное послание, которое предварительно как следует не обдумаете, не перечитаете сто раз и не вычеркните из него все, что может характеризовать вас не с лучшей стороны, потому что вам хочется как можно больше понравиться адресату. На некоторое время это срабатывает, но после виртуального знакомства придется переходить в реальное, а в реальности ничего зачеркнуть невозможно, оно навсегда останется в нашей жизни, как шрам после аппендицита.

«Мне было больно и обидно от того, как ты со мной поступил в понедельник... а на завтра я проснулась с тяжелой головной болью, потому что проплакала половину ночи... а потом прочитала твое сообщение, что-то вроде: «надеюсь, тебе спалось хорошо, чего не могу сказать о себе», расценила это, как очередное издевательство. И все эти дни мне было очень плохо, когда вспоминала тебя».

Пересказывая вам сейчас это письмо, я не придумал, не вычеркнул из него ни одного слова. В отличие от одной молодой женщины, когда она писала его в мое прошлое – двадцать четыре года назад, ровно на разницу в нашем с ней возрасте. Она почти не чувствовала этой разницы (для чего, признаюсь, мне пришлось приложить много усилий), но – заставляла чувствовать ее меня, благодаря таким вот своим театрално-слезным посланиям.

– Вы не верите в любовь между людьми, разница в возрасте которых несколько десятилетий?

– Почему же, верю. Вопрос только в том, что от такой любви мы сможем взять и какую цену заплатим ей. Стоя в реке, невозможно остановить ее. Но можно остановить маленькую частичку реки, зачерпнув воду пригоршней. Вопрос в том, надолго ли достанет терпения удерживать ее? Так и с временем. Нельзя остановить течение всего времени, но небольшую часть его, ту, которая течет через наше сердце, можно повернуть обратно. Однако трудно долго жить сразу в двух временных измерениях.

– Вы любили по-настоящему женщин, с которыми встречались?

– Безусловно. Понимаете, я не вполне верю в идеальную любовь, с первого взгляда – и навсегда. Это не костюм, пошитый высококлассным мастером по индивидуальному заказу. Я покупаю костюмы в магазине, и, случается, сначала чувствую, как тело неохотно привыкает к обновке, даже хочет избавиться от нее, словно от высохшей кожи после ожога. Но проходит время, и оно сливается с ней в единое целое, перестает ее ощущать. Одна из героинь моей повести, с которой мы проработали вместе почти год до того, как у нас возникли более близкие отношения, позже призналась мне: «Ты каждый день приходил на работу в костюме и галстуке. И вдруг в воскресенье мы случайно встретились в магазине. Я впервые за столько времени увидела тебя в свитере, и ты в эту минуту показался мне таким по-семейному родным, что я едва сдержалась, чтобы не повиснуть на твоей шее».

– Вы можете поделиться с читателями нашего журнала некоторыми способами соблазнения замужних женщин?

– Боюсь, тогда им будет не так интересно читать мою повесть.

– В таком случае, когда они смогут ее прочитать?

– Думаю, скоро. Хотя, признаюсь, меня настораживает предупреждение Вуди Алена: «Хочешь рассмешить Бога, поделись с ним своими планами».

Это интервью, отправленное мне на вычитку без журналистских ремарок в диалогах, написание которых – ее право – Марина, видимо, оставила на потом, я получил по электронной почте и, не поправив в нем ни одного слова, на следующий день отправил обратно с благодарностью. Прошла неделя, затем другая, но от Марины не было никаких сообщений. Большинство журналистов готовы переписываться с вами дни напролет, пока интервью в работе, но тут же забывают о вас, когда согласовано все до последней точки.

Однако я знал, что к Марине это вряд ли относится, и решил, что возникли серьезные проблемы с изданием журнала, и ей неловко мне об этом сообщать.

Но я ошибся. Примерно через месяц она прислала на мой электронный ящик письмо следующего содержания: «Прошу прощения, что так долго не отвечала. У меня теперь не лучшее душевное состояние, потому все кажется мерзким, в том числе и ваше интервью. Когда я брала его у вас и готовила к печати – радовалась,

поскольку оценивала наш разговор как журналистка, а не замужняя женщина. Вы когда-нибудь ставили себя на место ваших жертв... простите, женщин? Конечно, ставили, вы же писатель. И, наверно, считаете, что они должны быть благодарны вам. Как же, вы легко и непринужденно показывали им: они лучше, чем думают о себе, и заслуживают большего, нежели имеют. Вы создавали для них маленькие праздники и убеждали, что праздники в их жизни должны быть каждый день. Вот главный пункт вашей инструкции по соблазнению, разве не так? Но сомневаюсь, что вы хоть раз поставили себя на место женщины, у которой этот праздник закончился. И вы даже не представляете, что такое быть брошенной: это, когда чувствуешь перед собой пропасть и нет сил от нее отступить. Ну и...»

На этом письмо оборвалось. Оно так ошеломило меня, что я долго не мог собраться с мыслями, пока наконец не начал писать ответ. Я хотел сообщить ей что-то очень важное, но слова не слушались, и когда я перечитывал готовое, видел, что получается совсем иное, идиотское, не то, что минуту назад было в моей голове...

Две недели я напрасно ждал ответа, пока однажды не вспомнил ее слова: «Благодаря интернету, весь Минск – это огромная коммунальная квартира». Я без особых проблем отыскал на «фейсбуке» ее страницу. Последняя информация, помещенная в разделе «хроника», принадлежала неизвестной мне молодой женщине, которая с печалью, без подробностей сообщала, что Марины не стало. В тот же день мы с ней списались, и я узнал, что Марина после ссоры с мужем выбросилась с девятого этажа.

Я не знаю, прочитала ли она мое последнее письмо, в котором я каялся за свое бестолковое интервью, за эту игру, рассчитанную на то, чтобы привлечь внимание к еще не написанной повести. Боже мой, я разведенный холостяк, в жизни которого была только одна женщина – собственная жена! Я собирал истории о семейных изменах в газетах и журналах, вырезая и складывая их в верхний ящик письменного стола, чтобы позже самые интересные использовать в своей повести. Я собирал истории, конспектируя на мелованных листках признания эстрадных звезд и кинодив на всех доступных мне 49 каналах кабельного телевидения. Чем дольше я собирал их, тем труднее мне было остановиться. И когда довольно объемный ящик стола заполнился, когда однажды я открыл его и верхние вырезки и мелованные листки мотыльками слетели на пол, я ахнул: мир утонул в семейных изменах! И самое страшное, что об этом не стыдно говорить на публику, что это не осуждается зрителями! Поэты издают книги с фотографиями своих бывших жен и любовниц вместе со стихами, им посвященными. Актеры на премьерах фильмов признаются, что любовные романы, которые привели их к семейному разладу, начались именно на съемках этих фильмов во время интимных сцен. Я не говорил в телепередаче, что моя повесть будет автобиографической! Я сказал, что она почти документальная. А сегодня под другим понимается первое, и никак иначе. Мне хотелось наполнить повесть реальными героями, реальными историями так плотно, как ад наполнен грешниками. Это и была бы повесть-ад – предостережение к тому, небесному приговору.

Но, скорее всего, она уже никогда не будет написана.





## ЛЕНКА И ГЕНКА

### Рассказ

Ритм отдаленной железнодорожной станции вовсе не то, что почти круглосуточная сутолока торопливых пассажиров в лабиринтах громады столичного вокзала. Он такой же размеренный, как и спокойный ритм жизни районного центра, где каждый его житель на виду. А вот свежие новости здесь распространяются в мгновение ока. Их исключительная оперативность не уступит скоростному интернету. Местные слухи нередко обрастают всяческими подробностями, благодаря чему и процветает безлимитная "сарафанная связь". Бывает и такое: в центре скажут – человек женился, около милиции – с тещей не помирился, возле церкви – Богу душу отдал. Когда вдруг при передаче «горячего» факта случится осечка – собеседник неловко пожмет плечами, разговорчивые местные жители тут же, как на картах, разложат, чей кум, сват или сосед стал причиной нашумевшей истории, и сразу станет понятно, кого «ласкают» чужие языки.

Тот, кто изведал наслаждение жизнью в таком вот тихом городке, обжился в нем, в шумный мегаполис выбирается только по особым случаям. Зачем себя утомлять столичным шумом, когда и на месте всего в достатке. Хотя легкая на подъем молодежь приловчилась ежедневно курсировать на учебу – цена железнодорожного билета особо не бьет по скромному студенческому карману.

Пассажиры дисциплинированные: приходят заблаговременно, расходятся по всей длине перрона, заранее выбирают, в каком вагоне ехать. Притопывая, поглядывают в сторону блестящего на солнце рельсового полотна, ожидая, когда из-за поворота выскользнет юркая змейка голубых вагонов.

Опаздываю. Знаю, что весь перрон волнуется, видя спешащего рискованного пассажира. Сама неоднократно таких "летунов" в мыслях ругала крепким словом: ну куда тебя под самые колеса лихо несет?! Еще несколько стремительных шагов – и я в числе ждущих электричку пассажиров. Невольно вырывается вздох облегчения, исчезает общее напряжение. Как вдруг воздух сотрясает громогласный возглас. До слуха десятков двух испуганных пассажиров долетает:

– Ленка, тебя же вся тюрьма знает!

Словно над рельсами оборвался высоковольтный электрический провод, и мощный заряд пронзил тело от макушки до пят – так на меня обрушилась неожиданная радость.

Сзади приближается электричка, выстукивая ритмичное «так-так». А впереди сияет радостное лицо, которое издали узнаю не сразу. Хотя и в облике, и в бра-

вой фигуре одетого в элегантное черное пальто мужчины улавливаю знакомые черты. Да и в возгласе признаю сходство с победными криками индейцев, игра в которых была любимой, когда школой ездили на картошку.

– Это же я, Генка! Неужели так изменился? – напоминает о близком знакомстве бывший одноклассник.

Люблю дорогу за такие вот мимолетные встречи. Внезапно, словно из-под земли, возникнет тот, о ком и думать забыл. Только что сверлила голову мысль чем занять себя во время поездки, а уже захватывают в плен воспоминания, льется разговор, и мелькают за окном столбы, словно пролетевшие годы Бог весть откуда взявшегося рассказчика. Всего в какой-то час уложится весь жизненный путь, все пройденное, пережитое за солидный отрезок времени. В такие минуты собеседник особенно открытый, общительный, откровенный в своих душевных признаниях. Наболевшим – и о радости, и о горе – проникновенно делится с родственной душой. Когда еще повстречаемся, поведем душещипательный разговор? Домчит нас поезд до вокзала, облегченно вздохнет, и снова разбредемся по своим жизненным стежкам-дорожкам.

Только встреча разбередит душу, услышанное долго не будет выходить из головы...

Генка весь в отца: рослый, широкоплечий, с привлекательной внешностью. Девчонки, особенно из младших классов, задерживают взгляды на таких заметных кавалерах.

«Давно бы бросил все буквари,» – покуривая сигаретку, бравировал Генка перед сверстниками своей самостоятельностью. Его взрослые устремления сдерживала упрямая система образования, в соответствии с которой восемь лет, от звонка до звонка, должен отбыть в школе.

Уже с первых дней обучения стало понятно: педагогика от нового ученика поплачет. Не сказать, чтобы Генка с кем-то задибался, был хулиганистым. Возмущало его настойчивое нежелание учиться и завидное стремление юного лоботряса периодически исчезать в неизвестном направлении. Классе в четвертом искали пропажу почти месяц, пока не сняла милиция бродягу с поезда где-то под Москвой.

Используя весь имеющийся арсенал методов воздействия на «трудного» подростка, новаторы школьной педагогики изобрели новый способ воспитательного влияния – направили отряд отличников к Генке домой.

Семья жила на первом этаже двухэтажки, наспех возведенной в послевоенное время и рассчитанной на четырех хозяев. Отец, человек не без талантов (одно время работавший в районной газете), твердо обещая в очередной раз с выпивкой завязать, не поддавался исправлению, рьяно топил свои способности в бутылке. И Генка, и такой же сорванец – младший брат Костик с детства не знали строгости отцовского ремня. Достаток в квартире, как и вообще благосостояние всей семьи, старалась изо всех сил, создавала мать.

После уроков (последний из которых он обычно не досиживал) Генка болтался во дворе, где друзья возились с летательным аппаратом, сокрушаясь, что тот никак не взлетал. Когда Генка увидел одноклассников, настроенных решительно и даже воинственно, порадовался своей осмотрительности: ему хватало времени, чтобы исчезнуть незамеченным. Крадучись, он пробрался за угол дома.

На требовательный звонок напористых гостей двери открыла мать.

Женщина смутилась под взглядом пяти пар острых детских глаз. Ее поблекшие, некогда голубые глаза уже давно не светились радостью. Она была самоотверженной хранительницей домашнего очага, растворившейся в троих бессовестных разгильдяях – потребителях ее беззаветной доброты. И что с того имела? Пионеры – непримиримые борцы с бездельниками и двоечниками, тщательно выполняя наказ учителей, наперебой срамили женщину за бездельника-сына, угрожали исключить его из своих рядов. Мать молча слушала успешных сверстников сына даже пыталась удержать на лице улыбку, но она была такой же грустной, как и ее поникшая в печали измученная душа.

Назавтра на первом уроке Генка настойчиво тянул руку вверх. Непривычный к такому его старанию учитель одобрил ответ и, пусть и авансом, вывел в дневнике большую пятерку. Но такого горячего рвения к учебе закоренелому двоечнику хватило лишь на один день...

В конце восьмого класса Генка все же задумался, будто примирился со школьным порядком, почти перестал прогуливать уроки. Как знал, что получит первый и последний в своей жизни официальный документ об образовании. После торжества, на котором выдали свидетельства об окончании восьмилетки, Генка на прощание махнул рукой и с облегчением, покончив наконец-то с изрядно надоевшим учением, будто бы между прочим бросил: «Я – в свободное плавание...» В тот момент, несмотря на неоперившийся возраст, он чем-то был очень похож на ставших классическими проходимцев.

...Молодая весна, обласканная благодатным солнечным теплом, утонула в девственной белизне разомлевших от счастья садов. По стране бодро шагала окрыленная перестройка. Главным ее признаком стали длинные хвосты очередей, и не только в самих магазинах – их цепочки захватывали и прилегающие дворы. Настойчивые покупатели самоотверженно проводили часы, а то и дни, делая отметки на руках, в надежде дожидаться какого-нибудь "выброшенного" товара. За безнадежное на первый взгляд дело шустренько взялись неожиданно возникшие так называемые коммерсанты, цепко ухватились за "халяву" торговать. В народе их явно невзлюбили, раньше таких спекулянтов лишали свободы. Да деваться было некуда – ноги сами вели к наспех сколоченным, но таким соблазнительным ларькам с невесть откуда добытым товаром.

Известие об открытом на «лобном» в городе месте – у церкви – ларьке мгновенно попало на «канал» местной «связи». Всезнающие горожанки быстро прознали, что за безбожник, не боясь греха, в святом месте разводит коммерцию. Не сомневались в хорошей «подмазке» властям, раз те дали такое рискованное разрешение. Разочарованно кивали головами: зачем в душе вера, если в кармане деньги?..

Ко всеобщему удивлению, ларек оккупировал Генка. Если бы это не был родной город, где знали всю подноготную возвращенца, его приняли бы за молодого перспективного бизнесмена. Которым, между прочим, он, раздувая щеки, и представлялся. Но это был Генка! Из него бурным фонтаном вырывалась затаенная еще в детстве в самой глубине души обида, не давало покоя долгожданное: отомстить своим обидчикам – подняться выше над всеми. И пробирался он к этому своим избранным путем.

До заметного издали ларька и без того подходили любопытные. Однако вороватый Генка, имея из окошка широкий обзор всей площади, пристально

выслеживал знакомых и сильным, как рупор, голосом зазывал к себе. Острой занозой сидел в нем соблазн зацепить за живое, доказать всем, кто теперь хозяин жизни. Мягко стелился перед школьными учителями, якобы ублажал их. «Разве такое на талоны купишь? – со знанием дела рассуждал новоявленный богач и тут же гордо добавлял: – Слышал, заработки ваши совсем никчемные. Но ничего, на мои гостинцы денег хватит». Намекал: «Вам уступлю», – и тут же услужливо раскладывал перед покупателем жвачки, «Марсы», «Сникерсы».

Его компаньоном был не кто иной, как возмужавший Костик, который, чтобы не идти в армию, изловчился занять двух наследников.

Привычный к легковесной жизни Генка, теперь уже как настоящий Остап Бендер, не мог долго усидеть на одном месте и, удовлетворив свое самолюбие, в один из дней бросил малоодоходный по его меркам бизнес, черкнул на бумажке дефицитным на то время фломастером: «Технический перерыв» и исчез. Несчастным листок долго трепала непогода, от дождя потекли буквы, пока заброшенный ларек не убрали с площади...

То, во многом детское, наигранное, ветреное стало достоянием своего времени. Спустя годы такое обычно вспоминается с легким юмором. Бывший Генка уже стал Геннадием Петровичем, важным и самодостаточным мужчиной. Именно таким он казался на первый взгляд. Вызвал уважение и тогда, когда женщин по-джентльменски пропустил в вагон. По всему было видно – ему не терпелось быстрее начать рассказ, а мне тем более хотелось узнать, как в тюрьме ко мне пришла непрощенная слава.

– Ты в университете сколько лет училась? Пять? – начал Генка издалека и тут же, как опытный проходимец, перевернул на свой лад: – И я столько же времени гранит науки грыз, от звонка до звонка. Без экзаменов приняли, – нервно расхохотался. – Даже наручники надели, чтобы не передумал.

Как выяснилось, за решетку бизнесмен попал, когда после торговли всякой всячиной с такими же умниками, как и сам, пытался перевести на «левые» рельсы железнодорожные вагоны с сырьем. Его подталкивало желание «рисануться» особыми талантами, приобретенными в неволе. Еще более бесстыдный, метил и уколоть, мол, кто из нас сейчас более грамотный? Но то, что я заработала среди его криминального окружения авторитет абсолютно законным способом, превзошла самого Генку, не давала ему ехидствовать.

Сейчас, когда сидели вот так, лицом к лицу, можно было рассмотреть бывшего одноклассника не только снаружи, но и заглянуть в его гниловатую душу. Настороженно-недоверчивые и в то же время льстивые глаза смотрели мимо меня, скользили как по тонкому ледку, будто что-то искали, по всему вагону. За редкие зубы крепко ухватился темный налет от специфического напитка, популярного среди заключенных. То, что он с лихвой отведаль казенного хлеба, больше всего выдавали посиневшие руки, тщательно исколотые со всех сторон по определенным тюремным правилам. Подумалось: вот так диплом выписала ему жизнь, несмылаемый, с особой отметкой.

«Популярности» своего имени в тюрьме я, безусловно, была обязана Генке. Когда-то он прочитал в чрезвычайно востребованной среди заключенных «Детективной газете» материал за моей подписью, возгордился. Не каждый водил дружбу в журналистских кругах, тем более, близкую – с одноклассницей. Такое знакомство в стенах, ограниченных решеткой, имело высокую стоимость.

Вот оно, слово печатное, как аукнется... Хотя и прислали гонорар – не ровня другим газетам, больше писать о криминале не стала, не по мне смакование ужасов, дешевая в действительности такая строка.

Генка выдавал себя за везунчика, хвастался, что богат, что умом и без корпения над книгами блещет. Женился на дочери большого начальника в Подмоскowie, тот ему во всем способствует.

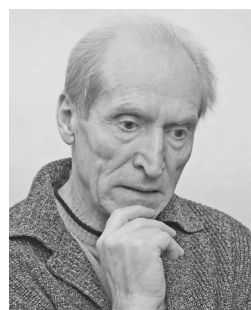
На остановке мой попутчик ловко спрыгнул со ступеньки вагона, и вновь его подхватили бурные волны жизненных перипетий... А меня не покидало приторное чувство от вывернутой наизнанку судьбы близкого с малых лет человека...

Лет через семь, на той же остановке, случайно вдали заметила фигуру одноклассника. Непотопляемый раньше Генка имел нездоровый вид, заставил себя улыбнуться. Передо мной прятал лицо в воротник того же, только изношенного пальто несчастный горемыка.

Криминальный мир – его стихия и образ жизни – превратил самоуверенного фраера в немощного калеку. Генка с какой-то детской невинностью признался: те, с кем братался, порезали так, что врачи шивали по частям, едва оправился.

Он не пошел садиться в вагон, задержался в тамбуре, незримо растворился в людях, во времени, в иллюзиях... В каком фаворе он сейчас у судьбы? Надежды на то, что встретимся, по-приятельски радушно обнимемся, стало меньше. На маршрутке мне ездить удобнее.

Олег  
Ждан



## ТЕЛЕВИЗОР

### Рассказ

Что ни говори, а профессия писатель – сомнительная. Один из моих приятелей, когда интересуются, где и кем работает, отвечает: летчиком сельскохозяйственной авиации, – и любопытствующий удовлетворяется. Однако приятель и в самом деле летал несколько лет, – а что отвечать мне? Скажи – шофером, спросят, на какой машине, в какой автобазе; скажи – инженером: на каком заводе, в каком цеху? Потому я говорю – сценаристом. Профессия ныне понятная, доступная, ну а пару сценариев я и в самом деле написал.

...Я приехал к Сожу с удочками ранним утром. Густой туман укрывал и деревню, и лес в Засожье. Недавно пролились обильные дожди, и островок, на

котором расположился прошлый раз, оказался недосягаем. В растерянности стоял на берегу.

– Перевезти? – вдруг услышал бодрый голос.

– Перевези, если не шутишь, – ответил в туман.

Через минуту стукнуло весло, хлюпнула вода и показалась лодочка-душегубка.

Стоя на одном колене, правил в ней мужичок лет шестидесяти, а может и больше, с интересом поглядывал на меня.

Еще минуту, и мы на острове. Мужичок торопливо втаскивал лодку на берег и поглядывал, будто опасаясь, что я скроюсь в тумане. Был он не по-утреннему оживлен.

– Подожди, – сказал. – Я тебе место покажу. Клюет – только снимай.

Бегом побежал впереди меня по мокрой траве.

– Вот! Стой здесь. А я здесь.

Стоял рядом, глядел, как я разбираю снасти.

– Из города? – спросил.

– Угу. В отпуску. Из Минска.

– На что будешь ловить?

– На червяка.

– А теста нет?

– Нету.

– Хочешь дам?

Кинулся к своему узелку, принес.

– С анисовым маслом! У-у... – понюхал. – Я вчера леща на него взял, удочка пополам... Туман поднимется – коников наловлю. Ловил на коников? Вчера плотвы взял – у-у... Старуха весь день бурчала, не любит чистить. Ленивая стала – старая. Где бы это молодую найти? – захихикал. – Вот удивилась, если б привел!.. Где работаешь?

– На киностудии. Сценаристом.

– Это как же?

– Сценарии для кино пишу.

– Да ну? – охнул. – Тебя-то мне и надо!.. Телевизор у меня не работает. Может, посмотришь?

– Нет, я в телевизорах не понимаю.

– Не понимаешь? Угу...

Я почувствовал, что уважение и интерес ко мне возросли.

– У тебя лишнего поплавок нет?

– Есть.

– Давай меняться.

Поменялись. Удовлетворенно разглядывал новый поплавок.

– А крючки?.. Ну-ка, покажи. А у меня – вот...

Сбегал, принес.

– Это я у прокурора выменял. А этот у Лукьянчика, корреспондента. Знаешь прокурора?

– Знаю.

– А Лукьянчика?

– Тоже знаю.

Еще на порядок подскочил интерес.



– Это не ты ему телевизор починил? Говорил, приехал человек из Минска, сделал лучше, чем в мастерской.

– Нет, это не я.

Потом мы менялись лесками, грузилами, поводками. Даже и червяками: я в городе накопал, он здесь.

– Поглядим, каких больше любит, деревенских или городских... У Лукьянчика какой телевизор? «Горизонт» или...

– Так я не знаю. Я у него дома не бывал.

– Угу...

Тут у него клюнуло. Вытащил плотвичку, с сожалением поглядел на меня: хорошо бы поменяться, да у меня не клевало.

– Становись на мое место, а я на твое, – нашел выход.

И вынул подлещика.

– Меня рыба любит. Куда я, туда и она. Я, когда молодой был... все девки мои. Не успею закинуть – клюют! – счастливо рассмеялся. – А теперь старуха клюет. С утра до вечера клюет. Бывало, как забурчит, я ей телевизор включу. А радио слушать не хочет. – Вздохнул. – Ну и как там у вас, в Минске?

– Да как сказать... Нормально.

– А у нас – агрогородки. Коровник новый построили. Предлагают опять работать.

– Ну и как? Согласен? – бодро поинтересовался я.

Однако на бодрость мою новый знакомый не откликнулся.

– Да ну! Куда мне уже... Семьдесят скоро. Раньше надо было строить. Жизнь прошла – зовут. Я всю жизнь вилами навоз кидал, а теперь там лента, само едет... И платят им хорошо, не то, что нам со старухой платили. Только мне теперь их денег не надо. Мне теперь – телевизор вечером поглядеть. А? – опять вопросительно поглядел на меня.

Я промолчал.

– А вот Матвей, хоть и старей за меня, пойдет. Жадный. Крючок зацепит – лезет в воду, хоть Пасха, хоть Покрова. Зальется когда из-за крючка.

– Кто этот Матвей?

– Да тут один... Сосед мой. Что мне этот коровник, если телевизор не могу починить? В город везти – машину надо, тут – некому... А? Поглядел бы. Рыбы тебе наловлю – сколько хочешь.

– А к рыбе? – неосторожно пошутил я.

– А как же! – воскликнул. – Само собой! Что я, не понимаю? Будешь доволен. Пойдем, а? Паяльник у меня есть.

– Да шучу я. Не понимаю в телевизорах. У меня совсем иная работа.

– Угу, понятно...

«Коровник... лента... А телевизор не работает. Радио работает, а телевизор нет».

– Я так думаю, скоро опять вилами навоз будем кидать, – вдруг сказал он. – И деньги большие перестанут платить.

– Почему?

– Потому как незавидливый наш народ. У тебя есть корова, а у меня нет – ну и хрен с тобой. Пей свое молоко, хоть залейся, а я гарбатки попью. Конечно, завидливые лучше живут... Вот Матвей... Только б гроши грести.

– Насолил он тебе?

– Кто, Матвей? – удивился. – Не. Он ничего. Мы с ним... считай, всю жизнь.

Между тем одну за другой вынимал плотвичек, подлещиков. Поглядывал виновато: хотел, чтобы и у меня клевало.

– Гришка! – раздался глуховатый и требовательный голос. – Ты где? Перевези!

Тотчас бросил удилище, кинулся к лодке.

Мужчина, которого он привез, оказался крупный, темный и, пожалуй, суровый и характером, и лицом. Недобро взглянул в мою сторону и, не кивнув, начал удаляться в туман.

– О н... – шепотом произнес Гришка и, беспокожно поглядев вслед, весело добавил: – Бойтся, что всю рыбу переловлю.

Зов «Гришка!» раздавался еще несколько раз, и тотчас мой новый знакомый кидался к лодке. А иной раз, прислушавшись, правил к тому берегу без зова: догадывался, что стоит там кто-то – приехал из города на автобусе – из чужих. К незнакомым он проявлял больше интереса: отводил на «хорошее» место, и в тумане я слышал уже понятный мне разговор: «Из города? Где там работаешь? В телевизорах понимаешь?.. Давай поплавками меняться. А крючки есть?..»

Берег постепенно населялся, оживал.

– Глянь! – вдруг крикнул Гришка и показал на горизонт, где за туманом поднималось солнце – огромное, розовое, совершенное. – Господи! – воскликнул, хлопнул по коленям руками. – Сколько живу – не нагляжусь на эту красоту!..

Туман над рекой клубился, утекал по течению, открывалось Засожье, и лес за рекой казался бескрайним.

Растерянно глядел то на солнце, то на меня, словно призывая в свидетели, сокрушенно качал головой.

– Нельзя помирать, – тихо добавил. – Надо жить.

Стоял, опустив руку с удочкой, забыв про поплавок.

Время от времени он обегал всех, кого перевез: «Ну, клюет?.. На-ка попробуй на тесто... Крючок у тебя какой? Пятерка? Много, давай тройку... Как ты завязываешь? Дай-ка я... Вот, другой поворот».

Наведывался и к Матвею. «Не клюет у него, – озабоченно сообщал, возвращившись. – Ай-яй-яй...»

Застрекотали, согревшись, кузнечики в высокой траве, и Гришка, оставив удочку, пошел ловить их. Замирал, прислушиваясь, и вдруг кидался, будто ему не под семьдесят, а шесть или десять лет. Через полчаса принес полную спичечную коробку, протянул мне:

– Один коник – один голавль.

Вдруг из-за куста, где стоял Матвей, раздался отборный мат. Гришка прислушался с интересом.

– Большая сорвалась, – пояснил мне. – Если маленькая – тихо ругается, большая – громко. И с начальством так: маленькое – слабо, большое – сильно.

– А чего ругается?

– А как с вами не ругаться? – причислил и меня к клану начальствующих. – Что ни сделаете, все поперек мужику.

– Я не начальство, Гриша.

Промолчал: дескать, это еще посмотрим. Дескать, это со мной, мужиком, ты простой, а как сядешь за стол – постучись, ноги вытри, шапку сними. Ничего, скоро кончится ваше время.

Матвей опять загрохотал.

– Не везет ему сёння. Злой пришел, потому не везет. Не наловишь, если не в настроении. Щас до хаты пойдет. Ай-яй.

И правда, через минуту, что требовалась собрать снасти, Матвей, плюясь, вылез из-за куста. Остановился около нас, сердито поглядел на меня.

– Из Минска человек, – сказал Гришка. – По телевизорам.

Информация эта на Матвея впечатления не произвела.

– Что поймал?

Гришка услужливо поднес ведро с рыбой.

Матвей выругался, закурил.

– Ну, что там у вас, в Минске? – презрительно обратился ко мне. – Разогнать вас всех надо.

Ответить просто: кого и за что? Но Матвей ответа не хотел и не ждал.

– И землю, и рыбу отравили, заразы.

– Матвейка, – ласково произнес Гришка, – они не начальство. Они...

– Кончилось ваше время. – Снова обильно сплюнул. – Все ваши телевизоры и газеты.

– Подожди, дядька, – не выдержал я. – Во-первых, при чем тут я? Во-вторых...

– Все теперь ни при чем. Все за правду... Перевези! – бросил Гришке и пошел.

Гришка послушно побежал следом.

Там, у потоки, они еще о чем-то поговорили. Голос Матвея звучал требовательно, властно, Гришки – послушно.

Вернулся оживленный, словно чувствовал облегчение без Матвея.

– Ох крепкий мужик, ох крепкий... – бормотал. – Если б мне его способности, давно в Минске жил.

– Какие способности?

– А всякие, какие есть. Работник. Только характер тяжелый. Свет такой, что с одним надо выпить, с другим рыбу половить, а он – нет, никогда.

– Значит, характер важнее способностей?

– Само собой.

– А у тебя?

– У меня его совсем нет.

Такая вот ситуация. Тяжелый характер – плохо, легкий – еще хуже. «Способности», получается, и вовсе не имеют значения.

– А что сделаешь? – философски бормотал Гришка. – Такая жизнь... У него тоже телевизор не работает, – вдруг сообщил с новой надеждой. – Второй год. Если б ты ему... Он бы тебе...

– Гришка, – вразумительно начал я, – если у тебя хворает корова, кого ты зовешь?

– Нету у меня коровы, сдал. Когда у Матвея молока возьму, когда чаю попью. Ого, корова. Прокорми ее.

– Ну, кабанчик.

– Кабанчик есть, – скучно ответил, давно догадываясь, куда клоню. – Ветинара зову, бутылку на стол.

– Так вот я не ветинар, Гришка, понятно?

– Понятно, чего непонятного...

Однако после этого разговора загрустил, а там и начал беспокойно оглядываться на деревню.

– Старуха в огороде корпается... Вон моя хата, насупроть. Эйшь, как ее крутит... Середина у нее болит. Может, потому и бурчит. Мне этот телевизор... А ей... Пойду, надо помогать. Ты покричи, когда надоест, я перевезу. А не хочешь – там, ниже мосток есть.

С этим же сообщением обошел других по берегу.

Собрал удочки, побрел, горбясь, плутая ногами в траве, – совсем иной человек, нежели тот, что возник из тумана.

Вот и весло стукнуло, хлюпнула у днища вода.

– Эй!

Я оглянулся и увидел его нечесаную голову над высокой травой.

– Не посмотришь?

Плюнул и бросил удочку.

В телевизорах я понимаю только предохранители. Вытащил первый – так и есть. Через минуту телевизор работал.

Гришка и обрадовано, и укоризненно качал головой: дескать, что ж ты? Не совестно?

– Марья! – крикнул в окно. – На стол!

А когда выпили по рюмке водки и закусили картошкой с яичницей – и панибратски, и просительно пихнул меня рукой:

– Слухай... Давай Матвею починим, а? Ну я тебя прошу!..

